

ПУШКИН и ГОГОЛЬ ¹⁾.

(К вопросу об их личных отношениях.)

I

«Пушкин сразу прозрел в нем великую восходящую силу и сразу же протянул ему руку, как бы завещая продолжение своей основной деятельности на благородном поприще слова»... «Приветливым ярким лучом дружбы озарил он и обогрел юного пришельца с юга, томившегося среди сурового равнодушия столицы на утрюмом севере» ²⁾.

Близкие отношения между Пушкиным и Гоголем установились очень скоро, после первых же встреч; дальше дружбе оставалось только крепнуть. И всю жизнь свою Гоголь чувствовал к Пушкину такое благоговение, что «ничего не предпринимал, ничего не писал без его совета, без мысли о том, как будет доволен он, что будет нравиться ему».

¹⁾ По зависящим и независящим от нас причинам мы можем дать здесь только первые две главы из работы нашей: «Пушкин и Гоголь», ставящей себе задачей — проследить шаг за шагом их взаимные отношения и дать им носильное объяснение в аспекте психологического, а также — художественного их творчества. В этой попытке двустороннего, так сказать, освещения этих личных отношений Пушкина и Гоголя, равно как в стремлении рисовать их динамически, в постепенном их нарастании, в их случайных и не случайных колебаниях, которые никак не укладываются в схему однозначную: положительную (была дружба) или отрицательную (не было дружбы) — фактически эти отношения то приближались к дружбе, наибольшая их близость падает как раз на 1834 год, то снова почему-то портились; — во всем этом и мыслилось отличие моей работы от работы очень интересной, но кажущейся не совсем убедительной, именно благодаря своей схематичности, *Б. Лукьяновского* на ту же тему: «Пушкин и Гоголь в их личных отношениях» (см. «Беседы. Сборник общества истории литературы в Москве», 1915 год).

²⁾ *Шенрок*, Материалы к биографии Гоголя, т. I, стр. 339.

В таких общих расплывчатых выражениях, блещущих всеми цветами идиллического красноречия, обрисован Шенроком весь период одновременной их жизни в столице — от первых дней знакомства до отъезда Гоголя за границу. А подробности, которые могли бы дать конкретное представление о характере этих отношений, о степени их сложности, — либо совсем отсутствуют, либо приведены настолько скупо и изложены так отрывисто, что вся нарисованная выше картина кажется не более, как сладкой идиллией, набросанной пером скорее панегирика, чем исследователя.

А между тем — нет сомнения — в этом вопросе требуется особая серьезность и вдумчивость уже потому, что одним из действующих лиц является, ведь, Гоголь — темный, загадочный, необычайно сложный с самых ранних лет своей жизни. И необходима исключительная убедительность фактов, весьма тщательная проверка всех данных, чтобы рассеять уже первое, само собою напрашивающееся, сомнение: испытывал ли Гоголь когда-нибудь, даже в дни веселой юности, и к кому бы то ни было, даже к Пушкину, эмоции, окрашенные в одну только светлую краску? А источники, которыми пользуется Шенрок? Они большею частью восходят к самому Гоголю, к его письмам и «Переписке с друзьями», где *Wahrheit und Dichtung* настолько переплетены между собою, так незаметно переходят одна в другую, что строить на их основании что-нибудь касательно его личной жизни — все равно, что рисовать, например, русскую общественность по «Мертвым душам» или «Ревизору»¹⁾.

В нашем очерке мы воздержимся от каких бы то ни было общих картин — для этого у нас нет достаточного количества фактов. Мы ставим цель небольшую: критическую проверку материала, который имеется по этому вопросу у самого Гоголя, и сопоставление этого материала с некоторыми данными, прямыми и косвенными, рассеянными как в мемуарной литературе, так и в переписке разных лиц того времени. На большее мы не претендуем.

Они познакомились в 1831 году, когда Пушкину было 32, а Гоголю 22 года, в конце мая или в начале июня, скорее всего в Петербурге в один из дней промежуточных между прибытием Пушкина

¹⁾ См. Б. Лукьяновского, «Беседы».

вместе с красавицей женой из Москвы (числа 25-го мая) и переездом его на дачу в Царское (в первых числах июня) ¹⁾. В эти дни Пушкин был очень занят по устройству своей новой семейной жизни; часы досуга он делил со своими старыми друзьями, которые, по словам Плетнева, давно уже жаждали его видеть. Быть может, у Плетнева или Жуковского встретились они в первый раз: Пушкин общепризнанный, великий поэт, первый среди первых, центр внимания и любви, и робкий застенчивый юноша, писатель только что начинающий, про которого лишь очень немногие знали, что это автор нескольких статей и отрывков, напечатанных в «Северных цветах» Дельвига за подписью из «нескольких нулей» или никому ничего не говорящих букв.

Месяца за три до знакомства, в письме от 22 февраля, Плетнев представил Гоголя Пушкину заочно, как «молодого писателя, который обещает что-то очень хорошее». «От него и Жуковский в восторге, и я нетерпеливо желаю подвести его под твоё благословение» ²⁾. Пушкин долго не откликнулся на этот восторженный отзыв. Когда же Плетнев напомнил ему ещё раз с упреком: «Надо быть аккуратным» — разумеется в переписке, то Пушкин так ответил: «О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что доселе ничего его не читал, за недосугом» ³⁾.

Досуг мог притти лишь потом, когда оба очутились вне холерного, карантинными отгороженного от всего мира, Петербурга: Пушкин в Царском, по соседству с Жуковским и Смирновой, а Гоголь в Павловске, в качестве гувернера при малолетнем полоумном князе Васильчикове.

«Здесь, — говорит биограф Шенрок, — Гоголю представился случай еще короче сойтись с Жуковским и Пушкиным, так что даже все письма и посылки отправлялись на имя последнего»... «Почти ежедневно выдались они друг с другом... Гоголь восхищался в чтении самих поэтов новыми произведениями и был посвящен в их литературные замыслы и интересы. Гоголь не только познакомился со

¹⁾ О знакомстве Пушкина и Гоголя см. «Русскую старину» 1897 г. июнь, стр. 611—16, и август, стр. 441—46, и дальше стр. 446—7, статьи Ф. Витберга, Шенрока и В. Авенариуса.

²⁾ Переписка Пушкина под ред. Саятова, т. II, стр. 225.

³⁾ Там же, стр. 237.

сказками обоих поэтов и повестью «Домик в Коломне», но ему было поручено передать Плетневу посылку, в которой заключались «Повести Белкина»¹⁾.

Из всего сообщенного Шенроком мы берем самое главное, почти ежедневные встречи и то, что Пушкин и Жуковский посвящали Гоголя в свои «литературные замыслы и интересы», относя неточность слов: «Еще короче сошлись (применимых и к Пушкину, с которым Гоголь только что познакомился и вряд ли успел уже в Петербурге сойтись коротко) и обывательского доказательства их близости: «Так что даже все письма и посылки отправлялись на имя последнего (на самом деле нам известно только про одну денежную посылку, посланную на адрес Пушкина, и то по недоразумению)—на счет безответственных красот возвышенного стиля биографа. Шенрок знает об этих встречах и т. д. из письма Гоголя к Данилевскому от 2 ноября 1831 года²⁾, которое он повторяет почти дословно. Гоголь пишет в тоне, чрезвычайно торжественном с еле сдерживаемой радостью: «Все лето я прожил в Павловске и Ц. Селе. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин, и я³⁾. О, если б ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей: у Пушкина повесть октавами писанная: «Кухарка», в которой вся Коломна и Петербургская природа живая. Кроме того сказки русские, народные — не то, что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только рифмами, и прелесть невообразимая». Гоголь узнал про повесть: «Домик в Коломне» гораздо раньше, чем она была напечатана, узнал про сказки в то время, когда они еще писались. Значит, — обобщает Шенрок, — он «был посвящен в их литературные замыслы и интересы».

1) Шенрок, т. I, стр. 346.

2) Письма Гоголя, т. I, стр. 196.

3) Очень любопытна и ценна была бы работа по ритмике Гоголевской прозы, в частности по вопросу об интонационном строении его фраз в его письмах и художественных произведениях, в аспекте психологии его творчества; ср., например, с фразой Ив. Ал. Хлестакова: «Английский, немецкий посланник и я». Кстати отметим здесь одну деталь: в сцене вранья Хлестакова хлопанье по плечу Пушкина вставлено уже после смерти Пушкина. Если Хлестаков срисован, как думает Овсянничко-Куликовский, с самого Гоголя, то эта деталь приобретает особую ценность.

Шенрок совершил здесь, бессознательно для себя, некоторую нетактичность, пожалуй. Он, очевидно, не принял во внимание, что скрытый смысл этого письма был рассчитан на наивную доверчивость товарища детства и не совсем осторожно проявил его в потомство. Когда-то Данилевский рассказывал Кулишу, что Гоголь «даже несколько наивно щеголял своим отношением к Пушкину»¹⁾. Данилевский мог иметь в виду и это письмо. Не будем уже говорить о том, что жил-то Гоголь «все лето» не «в Павловске и Царском», а только в Павловске, в Царском же только бывал; — неточность, быть может, довольно характерная, но все же это сравнительно мелочь. Для нас гораздо существеннее то, что «почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я». Если спросить: в течение какого же времени «собирались они почти каждый вечер», то ответ ясен из контекста с предыдущей фразой — «в течение всего лета». Так ли это? Жуковский прибыл в Царское вместе со двором во второй половине июля не раньше числа 17²⁾, а 15 августа Гоголь уже в городе. Так, по отношению к Жуковскому, по крайней мере, все лето сводится к трем неделям с небольшим. И это в лучшем случае. Если в письме Гоголя к Жуковскому от 10 сентября, где между прочим говорится о случайной встрече 8-го августа в Петербурге с Пушкиным, который сообщил ему, что Жуковский кончил свою сказку³⁾; — если в этом письме не описка: «август» вместо «сентября», то последнее свидание с Жуковским могло быть либо в последних числах июля, либо — самое позднее — в самых ранних числах августа. Тогда их летнее соседство ограничивается всего двумя неделями.

Наше сомнение в точности слов Гоголя находит себе некоторую поддержку, правда лишь косвенную, в «Воспоминаниях Смирновой» — не полуапокрифической, не составительницы известных «Записок Смирновой», а Смирновой доподлинной, А. О. Они относятся к тому же лету 1831 года, и она тоже пишет: «Мы — т.-е. она, Жуковский и Пушкин — «видались ежедневно». Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева на Колпинской улице Жуковский жил в Александровском дворце. «Тут они оба взяли привычку приходить ко мне по

1) Шенрок, Материалы, т. I, стр. 322.

2) Переписка Пушкина, т. II, стр. 263, 275—77 и 282—83.

3) Письма Гоголя, т. I, стр. 188.

вечерам, перед собранием у императрицы, назначенным к 9 часам» ¹⁾. Воспоминания писаны в 1871 году — через 20 лет почти после смерти Гоголя, с которым, с конца 30-х годов, Смирнова находилась в очень большой дружбе. Человеческая память в таких случаях часто грешит: путая близких во времени, их помещают обыкновенно рядом без всякого к тому основания. Очевидно, Смирнова точно помнит, что Гоголь в то лето у нее не бывал, и во всяком случае не ассоциирует его образ с теми вечерами, которые проводили у нее Жуковский и Пушкин. В конце июля или в начале августа 1831 г. — дата точно не установлена — Жуковский пишет А. И. Тургеневу: «Пушкин мой сосед, и мы выдаемся с ним часто» ²⁾. Через несколько недель — тому же Тургеневу: «Мы с Пушкиным вместе проживаем в Царском и вместе проводим вечера у смуглой Царскосельской Невесты» ³⁾, т.-е. у Смирновой. Жуковский тоже ничего не говорит о Гоголе, может быть потому, что Гоголь к тому времени уже уехал в Петербург, или потому, что для Тургенева Гоголь лицо совершенно незнакомое, и впечатлениями от Гоголя, если бы они даже были сильны и ярки, не считал нужным с ним делиться. Но во всяком случае, «Воспоминаниям» Смирновой эти письма Жуковского придают характер источника, вполне надежного.

Так остается из всего письма Гоголя к Данилевскому единственно достоверным и точным тот факт, что он знал про «Домик в Коломне» и про «сказки» не только до выхода их в свет, но и тогда, когда они еще писались. Очевидно, Пушкин и Жуковский в самом деле беседовали об этих произведениях или читали их — ему или в его присутствии, — и он, польщенный этим высшим доверием со стороны первых русских писателей, спешит сообщить об этом другу детства. Если б Шенрок не сделал отсюда своего рискованного вывода: «Поэты посвящали его в свои литературные замыслы и интересы», мы могли бы учесть этот факт в его скромных размерах, придавая ему должное значение в том смысле, что Жуковский и Пушкин относились к Гоголю, пожалуй, весьма доброжелательно, считались с ним, как с истинным талантом, правда, очень юным, только что начинающим, но действительно, по выражению Плетнева, «обещаю-

¹⁾ Русский Архив, 1871 г. стр. 1877.

²⁾ Письмо Жуковского к А. И. Тургеневу, изд. Русского Архива, стр. 256.

³⁾ Там же, стр. 258.

щим что-то хорошее». Теперь же невольно возникает такой вопрос: почему Гоголь в письме к Данилевскому говорит только о «Кухарке» и о сказках, и ни слова ни о «Скупом Рыцаре», ни о «Модарте и Сальери», ни о «Пире» и «Каменном Госте», ни о последних главах «Онегина»? Кто хоть немного знаком с перепиской Гоголя, тот знает, как часто и охотно Гоголь рассказывает обо всем, что касается творчества Пушкина ¹⁾, в особенности Данилевскому, и для того это молчание не может казаться случайным. От второй половины июля 1831 г., т.-е. очень скоро по приезде в Царское, имеется такая записка Жуковского к Пушкину: «Возвращаю тебе все твои прелестные пакости. Напрасно сердисься на «Чуму». Она едва ли не лучше «Каменного Гостя». На «Модарта и Скупого» сделаю некоторые замечания... Пришли «Онегина», сказку октавами, мелочи, прозаич. сказки, все читанные и нечитанные. Завтра все возвращу» ²⁾. Эти высшие достижения Болдинского периода: «маленькие трагедии» и главы «Онегина» противостоят «шаловливой» «Кухарке» и «сказкам» в такой же мере и степени, как «Мертвые Души» или «Ревизор» — «Майской Ночи» или «Шпоньке». Кто узнал в первый раз и те и другие, тот не станет говорить только о вторых, не упоминая ни слова о первых. Если придавать известное значение не только тому, что Гоголь говорит, но и тому, о чем он молчит, то надо будет признать, что в течение всего лета ему известно стало слишком мало из «литературных замыслов и интересов» Пушкина: ему удалось узнать лишь кое-что из «шалостей» Пушкинского гения; серьезное, главное, осталось для него сокрытым. Жуковский, очевидно, делал свои замечания на «Модарта» и «Скупого» и доказывал, что «Чума» лучше «Каменного Гостя» тогда, когда Гоголя с ними не было. (См. анализ этого письма у Б. Лукьяновского, «Беседы».)

В записке Жуковского упоминаются еще прозаические сказки — это «Повести Белкина». В то время, когда Гоголь писал свое письмо к Данилевскому, общество уже ими зачитывалось: они вышли из печати между 17 и 21 октября ³⁾. Здесь поставленный нами вопрос, кажется, приобретает еще более острое значение. В творчестве Пуш-

1) Переписка Гоголя, т. I, стр. 228, 241, 250..... и т. д. и т. д.

2) Переписка Пушкина, т. II, стр. 280—81.

3) Н. Лернер, Труды и дни Пушкина, стр. 254.

кина «Повести Белкина» — момент чрезвычайно важный. Друзья ими восторгались; сам Пушкин тоже относится к ним и их судьбе с особенным интересом ¹⁾. А Гоголь и о них ни слова. Или, быть может, он, как и вся широкая публика, не знал, что Белкин аноним Пушкина? (Пушкин тщательно скрывал свое авторство). А, ведь, Гоголь — Шенрок тут совершенно прав — в самом деле был причастен к моменту подготовки «Повестей Белкина» к печати: Плетневу они были переданы им, Гоголем. Выходит так: Гоголь исполняет роль передатчика, которому не считают нужным сказать, что именно ему поручается для передачи. Если б это было так, то уж одним этим фактом Гоголь отодвигается на довольно ощутительное расстояние. Здесь был бы некий оттенок — мы бы не сказали: высокомерия — но уж во всяком случае, неравенства: предмет тайны в его руках, он должен передать его другому, близкому человеку, как тайну; ему же как бы не доверяют ее.

Повторяем — мы ничего не доказываем на основании «фигуры» молчания. Почему бы в самом деле не быть целому ряду случайностей? Случайно Смирнова ничего не говорит в своих воспоминаниях о Гоголе. Случайно Пушкин не посвящает его в тайну аноним'a; случайно Гоголь не присутствует при беседе Жуковского с Пушкиным о «маленьких трагедиях» и последних главах «Онегина». Или случайно Гоголь так скуп, в письме к Данилевскому, на литературные новости, касающиеся Пушкина; скуп как раз в этом первом радостном письме из Петербурга, проникнутом так трудно сдерживаемым чувством гордости по случаю знакомства с Пушкиным, в то время как в других письмах своих он всегда — наивно и не наивно — рассказывает все, что знает о Пушкине, в особенности об его творчестве. Или: мало каких мотивов могло быть у Гоголя, чтобы предпочесть «Кухарку» и сказки «Скупому Рыцарю» и «Каменному Гостю», говорить о первых с восторгом, с упоением, и молчать о вторых.

Но не слишком ли много случайностей? Может быть, проще и естественнее было бы, по крайней мере, на первых порах, не так энергично форсировать их дружбу: пусть она придет в свое время, если она вообще когда-нибудь придет. Ведь, надо считаться с тем, что перед нами, когда говорим о Пушкине, определенный замкнутый круг с определен-

¹⁾ Переписка Пушкина, т. II, стр. 183 и 185.

ными крепкими традициями житейскими и литературными,—круг, члены которого очень тесно связаны между собою с давнего времени. Много пластов должно было отделять их от молодого Гоголя, человека иного круга, иного душевного уклада и иных жизненных привычек — цепкого, «себе на уме», внешне застенчивого, скрытного, осторожного до подозрительности. В кругу высших, имевшем касания к придворной аристократии, Гоголь, по всей вероятности, не сразу должен был найти для себя место. Пушкин мог, конечно, предугадать, что в лице Гоголя пришел в литературу большой талант, хотя вряд ли сразу ему стали ясны размеры этого таланта: Пушкин мог благоволить к нему, о нем заботиться, при случае покровительствовать ему всею силой своего огромного авторитета; — словом, стать к нему в такие отношения, которые вполне можно назвать доброжелательными, не без оттенка истинно-аристократической щедрости; но и только.

Мы знаем, как Гоголь пускал в ход «все способности своей богатой природы, не исключая и лести и сноровки затрагивать живые струны человеческого сердца» (слова Анненкова), чтобы проникнуть в этот соблазнительный, но органически чуждый ему мир. Потом, гораздо позже, это ему отчасти удается. В душе некоторых он займет место очень большое, почти такое, какое занимал Пушкин. Но это произойдет уже после смерти Пушкина, когда круг разомкнется, и кое-кто из его членов рассеется по Европе. А пока — в это лето 1831 года и в два ближайших года — образ Гоголя ни у кого из членов кружка ни разу не возникает рядом с близкими — с Вяземским, Жуковским, Смирновой, Плетневым и другими. О нем, кажется, нигде не говорят, о нем никто не вспоминает ни в одном из писем даже тогда, когда сообщают друг другу чисто литературные новости и строят различные планы: газеты ли, альманаха, сборника, и намечают сотрудников.

Впрочем, мы ничего не утверждаем за отсутствием надежных данных, крепко памятуя, что молчание не есть доказательство.

II

Когда мы ищем отражения жизни Пушкина и Гоголя в книгах воспоминаний, то обращаемся прежде всего к П. В. Анненкову и С. Т. Аксакову.

Анненков один «из самых просвещенных и критических умов своего времени», в словах которого всегда чувствуется это обаяние глубокой серьезности и сознание ответственности перед будущим. Анненков любит Гоголя, но «любовью не воспаленной», и знает Гоголя в разные эпохи его жизни: в период его величайших напряжений, когда он только что стал прокладывать, с таким трудом и упорством, свои многосторонние пути, и накануне величайшей его славы, в Риме, когда I том «Мертвых душ» уже был готов, и Россия с нетерпением ждала появления его в свет. Если Гоголь вообще был когда-нибудь и с кем-нибудь откровенен в какой-либо мере, то Анненков безусловно должен быть причислен к тем немногим, которым Гоголь мог дарить этот «высший знак своего доверия»; — ему, другу неравной молодости и чуткому свидетелю его судеб, который сумел сохранить свое беспристрастие и тогда, когда яростно вскипали страсти вокруг — для многих столь странной и неожиданной — его «Переписки с друзьями».

В нашем вопросе слова Анненкова должны быть особенно ценны, потому что он и о Пушкине знает, ведь, гораздо больше, чем кто-либо из писавших о нем, и когда он что-нибудь сообщает: из жизни ли Пушкина, из творчества ли, у читателя всегда есть это впечатление полновесности, ощущение того, что выводы выросли на основе, богато обставленной фактами, даже если он этих фактов не приводит. И вот что Анненков пишет о Пушкине:

«Мысли свои о людях Пушкин высказывал чрезвычайно острожно, ценя всего более лицевую сторону их жизни, как знаем. Наедине, однакоже, с особами, которым хотел показать признаки своей доверенности, он любил представлять образы своего меткого определения характеров и наблюдательной способности. Отсюда и причина некоторых недоразумений как в отношении самого Гоголя, так и в отношении других его знакомых. Люди, слышавшие доверчивые его суждения, принимали их за нечто противоположное с теми, какие высказывал он перед светом публично, когда собственно никакого противоречия между ними не существовало, и одни не исключали других»¹⁾.

Если мы правильно понимаем эти осторожные и сжатые слова, в которых чувствуется что-то до конца недоговоренное, то смысл их

¹⁾ Материалы для биографии Пушкина, изд. 1873 г., стр. 361.

таков: у Пушкина были двойные отношения — к близким и далеким: корректность, любезность, внимание и доброжелательность, — словом, все то, что относится «к лицевой стороне жизни» — к одним, и «доверенность», откровенность, проявление истинной близости к другим, к равным себе, — к тем, среди которых он был безусловно *primus*, но все же *inter pares*. Очевидно, к последним Гоголь не был причислен; он, повидимому, не редко выступал заочно в роли тех объектов из большого круга, на которых изошрялась «меткость определения характеров и наблюдательная способность» Пушкина.

Есть и у Плетнева кое-какие намеки на картину отношений между Пушкиным и Гоголем, тоже несколько иную, чем однодветная Шенроковская идиллия. Уже в 40-х годах, когда Гоголь был одержим своим мрачным, как это принято называть: мистическим настроением, и усиленно просил Плетнева, чтобы тот откровенно сказал, что он думает о нем, как о человеке, Плетнев набросал такую суровую характеристику личности Гоголя: «Но что такое ты? — писал он ему. — Как человек существо скрытное, эгоистическое, надменное и всем жертвующее для славы. Как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Твои друзья двойные: одни искренно любят тебя за талант и ничего еще не читывали в глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабановы, Смирнова и таков был Пушкин. Другие твои друзья — Московская братия. Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту» ¹⁾.

Портрет не из приятных. В нем, в односторонности его, виновато отчасти, быть может, чувство глубокой обиды, которую Гоголь постоянно наносил Плетневу: из года в год, в каждый свой приезд, каждым своим обращением, никогда чуткостью не отличавшимся, почти всегда корыстным. Быть может, есть здесь и ноты ревности к москвичам. Но тонкого и пронизательного Плетнева, по словам Тургенева, «трезвость и ясность ума никогда не покидает даже тогда, когда дело идет о разборе своей собственной личности» ²⁾. Образ Гоголя нарисован слишком сурово и жестко; взяты одни отрицательные черты. Но не забудем и дели, которую поставил перед ним Гоголь:

¹⁾ «Русский Вестник» 1890, т. 211, стр. 35.

²⁾ Сочинения И. С. Тургенева, изд. VI, т. X, стр. 16.

он просил о себе только плохого, хорошим о нем не скупилась слишком многие. И вот Плетнев решительно утверждает: «Ни Жуковский, ни Пушкин ничего не читывали в глубине твоей души». Как ни сложна натура Гоголя, но в его душе должен был читать Пушкин — прозорливец! Пушкин улавливал в личности Гоголя лишь то, что легко поддавалось его наблюдательной способности, в глубь не проникал: сфера личной жизни Гоголя протекала вне его сферы, и как был Гоголь воспринят в начале знакомства, таким он и остался, до конца — человеком чуждым, пришельцем из совершенно иного мира, по существу далекого, в основе своей неприемлемого.

Анненков и Плетнев, как ни скупы и мимоходны их сообщения, пополняют друг друга, и намечается довольно отчетливо грань между отношением Пушкина к Гоголю, как человеку, и к Гоголю, как писателю. За талант Пушкин любил его и высоко ценил. Но как глубоко понимал его, как художника? Были ли перейдены, хотя бы в области творчества, те пределы, за которыми начинается истинная близость в Духе? Или еще вернее — могли ли быть перейдены эти пределы? В некоторых случаях они бывают неодолимы и для гениев. Ежов, профессор Петербургского университета тех же 30-х годов, когда профессорствовал и Гоголь, так пишет в своих воспоминаниях: «Как известно, Жуковский очень любил Гоголя, но журил его за небрежность в языке. Уважая и высоко цenia его талант, никак не был его поклонником»¹⁾. По воспоминаниям не видно, что же Жуковский ценил и уважал в его таланте, и в каком смысле и почему не был его поклонником. Не видно также и тех фактов, которые давали Ежову право так говорить об их отношениях. Тем ценнее поэтому книга С. Т. Аксакова: «История моего знакомства с Гоголем». Старый, полуслепой, Аксаков писал ее накануне спуска в «долину вечности» и взвешивал каждое слово свое, каждый факт; был сугубо осторожен. И если бы не было у него надлежащих данных — фактов больше, чем впечатлений — чтобы иметь право сказать то, что говорит в своей книге, он бы наверное воздержался от многих слов, которые не могут нравиться слепым поклонникам большого человека, «Говорил (с Жуковским) о Гоголе. Я не могу умолчать, несмотря на все мое уважение к знаменитому писателю и еще большее

¹⁾ *Купчи*, т. I, стр. 330.

уважение к его высоким нравственным достоинствам, что Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина, особенно потому, что Пушкин погиб, зная только о наброске первых глав «Мертвых Душ». Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им такую выпуклость, такую жизнь, такое внутреннее значение, что каждый образ становился живым лицом, совершенно понятным и незабвенным для читателя, восхищались его юмором, комизмом и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему. Впрочем, должно предполагать по письмам и отзывам Жуковского, что он не понимал Гоголя вполне¹⁾».

«Я не могу умолчать... несмотря на все мое уважение»... Для Аксакова это не простой оборот речи, а выражение доподлинных чувств его. Узость умственная, художественная и даже нравственная чувствуется ему в том, кто недостаточно высоко ценит и не вполне понимает Гоголя. Аксаков не хотел бы, в этом смысле, оскорбить Жуковского, тем более — тень Пушкина. Но правда выше всего. Со стороны Жуковского доля узости еще допустима, но Пушкин тоже гений, не меньший, чем Гоголь. И вот найдено для него некоторое оправдание: он знал только наброски первых глав «Мертвых Душ». «Ревизор», «Ссора», «Старосветские помещики», «Невский проспект» те же главы «Мертвых Душ» хотя бы в набросках — всего этого недостаточно для правильной оценки Гоголя? Если верно, что до I тома Пушкин вместе с Жуковским восхищались только его юмором, его комизмом и «серьезного значения не придавали ему», то вряд ли открыл бы им глаза на истинный смысл Гоголевского творчества и I том даже в самом отделанном виде. Смешны и только смешны Иван Иванович и Иван Никифорович, Хлестаков и Дмухановский, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна? Тогда и Плюшкин, и Коробочка, и сам Чичиков смешны и только смешны, и не отражается в них никакой России даже и с одной сотой части «боку». Или Пушкин есть Пушкин, — великий гений, умеющий по двум-трем чертам разгадать всю картину, по первым наброскам представить

¹⁾ История моего знакомства, стр. 27.

себе все здание — конечно, если он органически воспринимает сотворенное другим, равновеликим — тогда не надо было ему «Мертвых Душ», чтобы вполне оценить, до конца понять Гоголя. Или здесь предел, которого не перейти и гению — два взаимнопротивоположных мировосприятия, дух, чуждый, по существу своему не приемлющий и потому действительно до конца не постигающий Гоголевского отношения к миру и жизни.

Так намечается — если только мы не переоцениваем смысла слов Аксакова — еще одно наслоение во взаимных отношениях Пушкина и Гоголя. Душевное осложняется духовным. Их чуждость идет гораздо дальше и глубже. Быть может, у каждой эпохи или даже поколения есть свои особенности, свои исключительные черты не только в области идей и форм творчества, но и в более глубоком, в основе, в том, что мы бы назвали интуитивным постижением мира. И чем ярче личность, представляющая эпоху, чем ответственнее она в выражении полноты ее сущности, тем законченнее и выпуклее должны быть ее образы; и люди, чуждые — другой эпохи и поколения уходящего — с грустью или недоумением покачивают головами, их не понимая. Для всех видимо, в мире имманентности, это основное различие воспринималось достаточно четко. Как ни различны — индивидуальны Жуковский, Пушкин, Вяземский — на них печать одной и той же полосы жизни: светлой радости, уравновешенности во всех своих колебаниях и страстях. Но боги уходят. И приходит на смену полоса горестно-трудная, полная неровностей, с нашей, человеческой точки зрения, быть может, глубже вспаханная: вместе со смехом жестким, смехом карикатуры, с образами гротеска, уже в начале проникнутая глубочайшей тревогой и болью.

Конечно, время от времени Гоголевское — не самая суть его, а внешне Гоголевское, комизм, как прием, вторгается в круг олимпийцев. Гоголь — весьма желанный гость на литературных субботниках Жуковского. Бывал он, быть может, нередко и на средах у Смирновой. На этих вечерах он должен был блистать своим артистическим чтением, умением, меняя голос и мимику, представлять смешными не только лица, но и вещи. Олимпийцы прекрасно его принимали... Когда «Гоголек» читал, боги наверное так весело и громко смеялись, что «чердак», в котором Жуковский помещался, дрожал от хохота. Кончался вечер. Наговорившись, люди расходились, в сущ-

ности такими же далекими, какими приходили в эти холодново-аристократические чердаки и бель-этажи.

Кн. Вяземский, в своих письмах к А. И. Тургеневу, так и скажет о Гоголе слово чуждое; скажет его так, между прочим, как о человеке, совершенно постороннем: «Один Гоголь, которого Жуковский называет Гоголек, оживляет его субботы своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть о «Носе». Уморительно смешно. Много настоящего Нимог»¹⁾. Это в письме от 9 апреля 1836 года. А четыре месяца назад Гоголь не удостоивается даже отдельного упоминания и попадает в общую кучу: etc... etc... «Читал твои письма у Жуковского, который сзывает по субботам литературную братию на свой олимпийский чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc. etc».

Если картина, которая нам рисуется, не лишена в известной мере вероятности, то невольно возникает в связи с ней такая мысль: не здесь ли, в этой двойной отчужденности—душевной и духовной—от людей, к которым так неудержимо тянуло по самым разнообразным причинам, в переживаниях, очень сложных, в которых должно было быть и чувство горечи;—не в этом ли скрывается одна из причин, по которым Гоголь сошелся так стремительно быстро с москвичами: с Погодиным, Аксаковыми и другими? Гоголь больше, чем кто-либо нуждался в такой атмосфере, где бы царил беспредельное перед ним преклонение. Не ему с его огромным больным самолюбием, с его безграничной жадой славы, не ему мириться с ролью второстепенного лица, которого ласкают, называют «Гоголек», но, быть может, в самом деле недостаточно уважают и ценят, и еще меньше понимают. Стать среди москвичей фигурой центральной, такую, какую был Пушкин в кругу петербуржцев: будут ловить каждое его слово и передавать из уст в уста—какой это неодолимый соблазн для такой души, какую рисует Плетнев! Это могла быть первая еще не вполне осознанная попытка бежать из той среды, которая тем больше ранит его, что никто, ведь, в сущности ни в чем не виноват. Конец 1833 года и первая половина года 1834—один из самых тяжелых периодов в его жизни; Гоголь мечется в каком-то странном беснокойстве, часто чувствует себя больным; повидимому,

¹⁾ Остафьевский архив, т. III, стр. 313, 316 и 280.

о Киеве мечтает совершенно искренно — начать бы новую жизнь! Там он в самом деле может оказаться единственной формирующей силой. Но с другой стороны, разве уж так бесповоротно исключена возможность осуществления старой мечты, стать *par inter pares* среди самых лучших — стать не только видимо, но и внутренне? Разве не растет его талант, не разветвляется шире и глубже? Гоголь искренен, когда пишет Максимовичу, что ему все же было бы очень тяжело порвать с Петербургом, с которым у него так много связано. В пути его странствий произойдет естественная остановка; будет отсрочено бегство еще на пару лет. В решении остаться ему поможет предчувствие и вскоре пришедшее начало нового прилива творческих сил, самого могучего в его жизни. Прилив будет длиться весь период почти до самого отъезда за границу.

А сердце неутоленное, в часы досуга, томится все тем же одиночеством.

Так приобретает еще большее значение рассказ Анненкова о том, как держал себя Гоголь среди благоговевших перед ним земляков, как он отдыхал душой, окруженный их усиленным вниманием и заботливостью. Необходим этот круг людей, хотя небольшой, пусть незнатный, но чтобы восхищение было безграничное. Какое это счастье — чуть-чуть снисходить, позволять себе быть вполне искренним, откровенным почти до конца в выявлении всего того, что так тщательно скрывалось от тех, которые его не понимали или понимали слишком односторонне.

Перед этим кругом (земляков), — говорит Анненков, — Гоголь всегда стоял просто в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный. Гоголю должен был нравиться тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его... В этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой натуре, не исключая хитрости и сноровки затрагивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей, если не отдыхать, то, по крайней мере, сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что го-

ворилось и делалось по поводу его особы на другом более обширном поприще¹⁾).

Круг земляков резко противопоставлен всем другим: далеким и близким. Только здесь ему не нужно было напрягаться; он мог стоять в обыкновенной своей позиции, не беречься и не осматриваться кругом. От кого или чего беречься? Не было у него другой такой среды, где бы он мог ожидать тех же бескорыстных суждений, членам которой он мог бы так же верить, как верил уединенному кругу своих приятелей. Только они, земляки, дарили ему высшее благо—душевную уравновешенность, прямоту и ту внутреннюю свободу, какую Пушкин знал в своем кругу.

Анненков говорит об этом тоном пронизательного и вдумчивого друга. Едкий Никитенко рассказывает о том же с некоторым сарказмом. Профессура Гоголя провалилась. Никитенко с удовольствием заносит эту историю в свой дневник, прибавляет не без ехидства, что сам Гоголь признался, что «для университетских чтений надо больше опытности»... «Однако—продолжает он—в кругу своих (несмотря на этот урок с профессурой) он все тот же всезнающий, глубокомысленный, гениальный Гоголь, каким был до сих пор»²⁾...

А. С. Долинин (Искоз).

¹⁾ Литературные воспоминания, стр. 14—15.

²⁾ Дневник Никитенка, т. I, стр. 262—64.

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
СЕМЕНА АФАНАСЬЕВИЧА
ВЕНГЕРОВА

ПУШКИНИСТ IV

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. В. ЯКОВЛЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА • ПЕТРОГРАД

1922